

Лосев А. Театрал filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

А.Ф.Лосев Театрал

1.Это было порядочно-таки давно, через несколько лет после окончания гимназии.

Я проезжал по Юго-Восточной железной дороге и должен был сделать пересадку на ст. Лихой.

Поезд, с которым я должен был ехать, сильно опоздал, и я не знал, куда деть несколько часов. Прочитавши все газеты, какие нашлись в киоске на вокзале и просмотревши кое-какие брошюрки, я вышел на платформу и стал долго гулять, имея в голове довольно неясные и рассеянные мысли.

Вдруг над самым ухом я услышал пронзительный выкрик:

-- Ванька!

И кто-то сильно и дружески ударил меня по плечу.

Я невольно отшатнулся от подошедшего ко мне субъекта, удивившего меня своим странным костюмом. Этот костюм напоминал мне мешочный фартук, начинавшийся с плеч и спускавшийся до самого низа, какой носят лабазники и приказчики съестных лавок. Платье это, кроме того, было затащено и заношено и начинало ползти, так что едва ли и можно было привести его в приличный вид. На голове был сношенный черный картуз, также свидетельствовавший о своей долголетней службе, причем верх был совершенно мятый, и издали это казалось не картузом, а какой-то бекешей.

После первого изумления я стал всматриваться в лицо окрикнувшего меня человека, и оно сразу показалось мне знакомым. В глаза бросался какой-то знающий ум, но все лицо удивляло своей серостью и невыразительностью. Нос на этом лице был несколько приплюснутый и очень вяло выделялся на его поверхности, свидетельствуя о какой-то ограниченности. Также и тонкие губы совершенно не улыбались, несмотря на фактическую улыбку и даже смех, и виделось в них некоторое тонкое убожество натуры и какая-то скрюченность, сжатость, сдавленность всякого размаха.

После нескольких мгновений я узнал своего старого товарища по гимназии, с которым в свое время я был чрезвычайно дружен, но которого ни разу не встретил за несколько лет, прошедших после окончания.

Узнавши своего старого приятеля, я сразу вспомнил и его имя и так же дружески закричал:

-- Петька!

Мы обнялись.

-- Ванечка, милый мой, дружище закадычный! Какими судьбами? Где твой дом? Куда ты едешь? Ну, где же нам присесть? Не отпушу, не отпушу! Покамест не расскажем друг другу всего, не отпушу! Понимаешь ли, -- всего, всего!

-- Слушай, Петька, -- отвечал я таким же возбужденным голосом. -- Ты ли это? Не верю своим глазам!

-- Ваня милый, пойдем в вокзал. Засядем там за столик, и будем рассказывать, рассказывать... Господи, вот встреча-то!

Мы вошли в вокзал, заняли в буфете отдаленный столик в углу и начали свой разговор.

Как только мы сели за стол, Петя сразу потух. Сразу стало ясно, что возбуждение и радость, проявленные им при встрече со мною, нисколько для него не характерны, что повседневная его жизнь -- совершенно иная, гораздо более вялая и прозаическая. Надо было ему именно встретить друга детства, --не менее того, -- чтобы он пережил радость.

-- Да, да, много воды утекло, -- начал разговор Петя. -- Тебя не узнать. Кто-то мне говорил, что ты занимаешься литературой. Да! А вот я... Да, мне не

повезло...

-- Петя... а что ж твой театр? Не пошел по тетральной части?

Ответ был ясен сам собой, так что не надо было и спрашивать. По всему было видно, что ни по какому театру Петя не пошел.

-- Не пошел, брат, не пошел...

-- А помнишь наш милый маленький театрик в Н***? Помнишь наши увлечения, наши мечты о театре?

Петя нахмурился.

Я не стал расспрашивать дальше, да и вообще получилась какая-то неловкость. Я решил ничего не расспрашивать Петю об его занятиях или службе и ждать его собственного почина.

Петя не заставил себя долго ждать.

-- Много, много надо тебе рассказать. Да уж не знаю, расскажу ли. Ни с кем ведь не делился, почти что с того времени, с гимназии... да и кто поймет?

Тут почему-то мне вдруг стало понятно, что Петя очень много пережил, и что его серую и скучную наружность нельзя понимать буквально. Под нею что-то шевелилось, о чем покамест трудно было догадаться.

-- Да, да, много воды утекло с тех пор, всего и не запомнишь...

Ему, видимо, хотелось многое рассказать и при том что-то особенное. И он только не знал, как к этому приступить. Я решил ему помочь.

-- Петя, давай условие: сначала ты мне рассказывай, а потом я тебе...

-- давай, давай, милый Ваня... Ты мне тоже все расскажешь подробно-подробно. Но начну уж пусть я... Только вот что... Ты пьешь? Я отрицательно мотнул головой.

-- Ну, ладно! Ради дружбы--разреши уж мне...

Мы заказали графинчик.

С каждым мгновением Петя открывался мне все с новых и новых сторон. Сейчас я сразу увидел, что Петя безнадежный алкоголик. Как я не заметил этого раньше? После жалкой просьбы о графинчике я сразу заметил, что лицо его какое-то прозрачное и опухшее, и глаза -- с тем слабым, как бы мигающим, холодноватым блеском, какой бывает только у алкоголиков да после больших потрясений.

Петя сразу выпил большую порцию, но не повеселел. Разве только стал смелее и развязнее на язык.

И он начал рассказ, потрясший меня до глубины души.

2.

-- Милый Ваня! Пересматриваю свою жизнь и -- спрашиваю себя: зачем жил? Ведь была же какая-то цель, какая-то идея в этой жалкой и ничтожной жизни! И не вижу, не нахожу такой цели... Все дело в том, что я не поехал в университет. И почему не поехал, --смешно и сказать. А был бы я другой человек... И теперь иной раз кажется, что попади я в университет, я воскрес бы душой и начал бы новую жизнь. Но нет, поздно! И знаешь, почему не поехал в университет? Смешно и стыдно сказать. А надо сказать и скажу. Летом того года, когда мы с тобой получили аттестат зрелости, я поступил на почту... Смешно! Поступил почтовым чиновником -- продавать марки и открытки. И летом же послал все документы в Москву для принятия в университет, а в августе получил уведомление о принятии... Тут бы сорваться с места и, несмотря ни на что, дернуть в Москву. А я... Я стал слушать родителей. "Куда-де ты поедешь, голодный и холодный? Обеспечь сначала себе хоть месяц жизни в столице, да и мы-то старые и голодные, работать уже не под силу". Ну, думал-думал. Решил до Рождества подождать, на дорогу себе собрать. Да, вот

теперь уж восемь лет, как все на дорогу себе собираю... Да, впрочем, давно и бросил собирать.

Отец -- тоже почтовый чиновник. Сорок лет служит на почте. Через него-то и погиб я во цвете лет. Приходя домой с своей службы, я встречал только одно: "Ты нам неблагодарен. Мы тебя родили, мы тебя поили и кормили. А ты вот вырос теперь до 18 лет, а нам не помогаешь. Что это за жалованье твое -- 15 руб.? Башмаков больше стаскаешь!" Иной раз дело доходило и до таких фраз: "Мы тебя поим и кормим, а ты ничего не зарабатываешь. Скоро ли кончится это мучение? Что ж ты думаешь, мы обязаны, что ли, тебе чем-нибудь? Нашел дойную корову!" Я молчал, и это их раздражало пуще прежнего. В конце концов я понял, что мое молчание -- самая жестокая для них позиция. И я продолжал молчать и молчать, раздражая их все больше и больше. Приду, бывало с почты, лягу на свой диван, и -- начинаю молчать, начинаю это жестокое и беспощадное избиение моих родителей молчанием... Только когда уже становилось невтерпеж, то я вставал с своего диванчика, медленно и степенно одевался и уходил из дома, как будто бы шел куда по делу.

На почте не было веселее. Работа, которую я делал, была совершенно механической. Для нее достаточно было кончить сельскую школу... Ты думаешь, я мучился, страдал, кидался из стороны в сторону? Нет, милый Ваня. Я добровольно отдавал себя во власть этой всеразъедающей стихии серой обыденности, и как бы всасывал в себя эту скуку почтового ведомства, сам превращался в это почтовое ведомство.

С родителями пришлось скоро расстаться. Не потому, что я, наконец, вник в их попреки куском хлеба и не потому, что хотел их освободить от лишнего рта. О, нет! Это никогда не входило в мои цели. Я с наслаждением продолжал издеваться над моими родителями своим постоянным молчанием. И если бы не одна случайность, то я никогда бы от них не ушел, пока они не применили бы физических мер или не позвали бы на помощь полицию. Случайностью этой была женщина.

Ваня, ведь оно же и естественно. Ну, как же мне, здоровому парню, не задуматься ни разу над женщинами? Даже я, такой бука, уничтоженный и забитый и родителями и судьбой, задумался однажды над женщиной. Но это было раз, первый и последний раз в жизни. Да, Ваня, первый и последний раз!

Однажды ходил я по улицам, после одного особенно бешеного нападения на меня родителями, и, находившись до полной усталости, присел на скамейке в нашем маленьком городском скверике. Сидел я не долго, как вдруг заметил одну странную женскую фигуру, медленно прошедшую раза два мимо меня и в конце концов севшую на ту же скамейку, что и я. Это была высокая худая дама, вся в черном, в каком-то неопределенно-гадком пальто, напоминавшем скорее ночной капот, чем верхнее платье. Что в особенности поразило меня, это ее черная же вуаль, придававшая ей страшный и таинственный вид. Невозможно было разобрать ни выражения лица, ни ее намерений, когда она села на этой скамейке почти что рядом со мною.

Был пасмурный осенний день, клонившийся к вечеру, и уже начинало темнеть. Изредка перепархивал небольшой дождь, и на душе было томительно. Городишко наш и без того маленький и ничтожный, да в такую-то погоду едва ли и могло кому-нибудь взбрести в голову гулять. Поэтому скверик был совершенно пуст. Да, казалось, и город весь вымер, как в сказке. И никого кроме меня и этой страшной дамы в черном.

Она посидела всего несколько секунд и, по-видимому, не обращала на меня никакого внимания. Она держала голову прямо, не глядя на меня. И в таком виде встала и начала медленно удаляться. Я почувствовал, что автоматически встаю и двигаюсь за ней, хотя не отдавал себя ровно никакого отчета, куда, зачем и почему я сейчас иду.

Что ж ты думаешь? Дама шла куда-то на окраину города, (кажется, даже в пригород, в какое-то, помню, очень глухое и пустое место. Она не оглядывалась на меня и не подавала никаких знаков внимания, но я шел и шел, увлекаемый новыми, неизвестными мне чувствами.

Тут впервые я испытал влечение к женщине.

Собственно говоря, и сейчас я не знаю, было ли это влечение именно к женщине. Два чувства боролись тогда во мне и даже не боролись, а просто были вместе, были чем-то одним, чего нельзя было даже и расчленить; это -- жуть и похоть

одновременно. Идя за этой страшной женщиной неизвестно куда, я шел как бы через многоводную и глубокую реку, в бурю, в ненастье и в ночь, по жидким и трясучим доскам, еле-еле скрепленным и небрежно переброшенным с одного берега на другой. Идешь это между двумя безднами, и сам не знаешь, снится ли это или уж такая действительно безобразная и скучно-наглая, безглазая жизнь. Внизу журчит и шумит холодная и черная река, которой даже и не видно, а которую только слышно. Наверх же и взглянуть невозможно: того и смотри пошатнешься и упадешь в реку. Идешь-идешь по этому трясучему мостику; и уж начинает раздражать, когда же, наконец, прекратится это бессмысленное акробатство и ступишь на твердую землю. А жить так хочется! В этой отвратительной, холодной, наглой, бессмысленной реке -- так хочется жить, так хочется жить! И кажется, что вот-вот уже и начинаешь жить, что трепещет в тебе все живое и внутреннее, и нашептывается что-то ласковое-ласковое, нежное-нежное... И ты, неведомая и страстная, примешь все -- как ласковый подарок жизни. И ничего от меня не потребуешь, и ни в чем не упрекнешь. А проснешься завтра с свободной душой и ласково вспомнишь о наслаждении бытием, о мучительном наслаждении бытием. И ласково простишься со мной и посочувствуешь бедной человеческой жизни, и трогательно поблагодаришь за наивное, хотя и мимолетное, счастье. И тьма ненастной ночи не в силах победить в тебе мужского влечения, и река-то холодная, мрачная, и есть эта жуткая и сладкая тайна, в которой все наивно-наивно, мучительно-мучительно, все как-то без мысли, без рассуждения, все сладко и скучно, все трепетно и как-то приятно безнадежно...

Так шел я и шел за своей таинственной незнакомкой и, наконец, заметил, что она входит в небрежно-содержимый, грязный домишко. Я повиновался магнитически и--через несколько мгновений вошел в ту же дверь, что и она.

Удивлению моему не было и конца. Я вошел в низкую, грязную, дурно пахнущую комнату, освещенную тусклой керосиновой лампой. В особенности неприятно поразила меня вонь. Это был запах, кажется, какой-то материи, какого-то старого, заношенного сукна или войлока, на котором высох пот. За столом сидел хозяин, -- маленький сухонький старичок, имевший вид старого заскорузлого чиновника, со сморщенным, желтым, скопческим лицом, и хозяйка, значительно моложе своего мужа, с кривым и неестественно сгорбленным носом, и огромной родинкой на щеке, неприятно бросавшейся в глаза как болезненный и грубый нарост, как некая метка. На столе находился грязный, темно-тусклый-красный самовар с вдавленным боком, несколько железных кружек и нечто в роде сухарницы с куском хлеба неопределенного цвета. Чай разливала дочка, тоже неимоверно худая и сморщенная, хотя имевшая не больше 28--30 лет. Квартира производила впечатление бедного и запущенного жилья мелкого, неудачного чиновника.

Но где же моя таинственная дама в черном? Куда она делась? Она вошла как раз в ту самую дверь, что и я, и дверь -- единственная, и комната, в которую она вошла, --единственная. И все же нельзя было увидеть ровно ничего, хотя бы отдаленно похожего на эту даму. Она была такая таинственная, такая страшная и загадочная, а здесь, в этом вонючем хлеве, было все так понятно, так элементарно ясно и понятно, так прозаично и духовно-бедно!

Да, это был один из тех необъяснимых случаев в моей жизни, которые случались со мной не раз и объяснения которым я не мог найти, несмотря ни на какие усилия мысли. Впрочем, все это так ясно, так понятно! И объяснять нечего!

Итак, я вошел в бедную, тошнотворную квартиру какого-то захудалого чиновника. Но тут я нашел нечто такое, что превзошло даже таинственное исчезновение моей дамы в черном. Войдя в эту комнату-квартиру, я вдруг понял, что я давным-давно здесь бывал, что хозяин и хозяйка этой квартиры давным-давно хотят выдать за меня свою засидевшуюся дочь, что меня и здесь постоянно ругают за малый оклад жалованья, и я отделяюсь молчанием и что -- самое ужасное -- на завтра, да, да, именно на завтра назначено мое бракосочетание с этим ужасным высохшим заморышем, их дочерью.

Я молча вошел в эту квартиру и сел в стороне, почти в углу.

"Ну, что же? -- начал старик скрипучим голосом. -- Мало того, что вы своей невесте ничего не сделали к свадьбе и нас забыли, стариков, вы не хотите ничего сделать и себе к свадьбе? Посмотрите на себя: что это за костюм, неужели вы думаете и на свадьбе быть в этом же истасканном мешке? Что же, мы, что ли, должны вас одевать? Довольно и так, что вы объедаете нас и еще ни разу не

Лосев А. Театрал filosoff.org
помогли за все ваше знакомство с Лидой".

И многое говорилось в этом роде. А я все молчал и молчал, считая, что молчанием только и можно допечь этих старых отвратительных скопцов.

Ты, скажешь, милый Ваня, что я--дурак, что я--остолоп, что я -бесхарактерный человек, что я -- дрянь, рохля, что я -- пентюх. Увы, милый Ванечка, ты будешь прав, ты будешь тысячу раз прав! Да, я -- ничтожество. Одно слово -- ничтожество! И ничего, брат, не попишешь! Окрутили меня свадьбой, бросил я родителей, поселился в этой вонючей конуре, где мне с женой отгородили выцветшими ширмами угол. И началась пытка "семейной" жизни, в которой все было так обычно, так неново, -- только вместо одной пары вечно бранящихся родителей появилась другая пара столь же неутомимых в своей язвительной желчи, да, впрочем, появилось еще одно существо, не бывшее раньше... да стоит ли и говорить о нем?

Стыдно сказать, милый Ваня, но эта самая Лидия, которая по неизвестной причине сделалась моей невестой и по неизвестной и еще более странной причине сделалась моей женой, была настолько тупым и ограниченным существом, настолько бессмысленным и жалким созданием, что описать тебе этого я просто не в силах! Помню эту комическую и жуткую первую брачную ночь, -- и как все это жалко и бездарно, как это ничтожно и безвкусно! После бракосочетания и нудного, никчемного, бедного чаепития, долженствовавшего символизировать семейное торжество, нас оставили вдвоем в этом вонючем углу, в котором и без того дышать нечем, а тут еще обвесили этот угол грязными тряпками, чтобы скрыть то, что и не нуждалось ни в каком укрывании. Лидия легла на постель, раздевшись до нижней рубашки, а я ... я с трудом сдерживал отвращение, الشедшее из самой глубины души, стоявшее каким-то тошнотворным ощущением в желудке и вызывавшее легкую теневатость (?) окружающих предметов. К этому скрюченному, засохшему телу, к этому курносому морщинистому лицу, к этой пустой и отсутствующей груди я не мог, понимаешь ли, не мог прикоснуться! Я начал ходить около кровати, хотя в этом углу нельзя было и повернуться, ходил-ходил, не зная, что предпринять, покамест не услышал ворчливое замечание старухи, что мое хождение по комнате мешает им спать, старикам. После этого я нерешительно сел, не раздеваясь, на кровать, и даже не мог себя заставить хотя бы посмотреть на лежавшую рядом невесту. Сколько я так сидел, не знаю. Вероятно, очень долго, потому что уже послышалось храпение моей невесты, спавшей с широко раскрытым ротом и сосредоточенно-тупым выражением лица. Я, все еще не раздеваясь, прилег на диванчик и так продремал до утра.

Это, Ваня, называется у меня брачная ночь! И так, пока не кончилась наша с нею "жизнь", я и не соединился с нею супружеским ложем. Не могу, милый Ваня, не могу!

Ни одного доброго или ласкового взгляда с моей стороны или с ее стороны! Ни одного нежного и даже просто доброжелательного разговора! О родителях и говорить было нечего.

3.

Вероятно, так бы оно шло и до сих пор, сцены и ругань новых родителей продолжались бы и до настоящего дня, если бы не случилось в моей жизни нечто такое, чего я уже никогда не ожидал от самого себя и что сразу вырвало меня из пут и родителей, старых и новых, и своей бездарной жены, и никчемной службы в почтовом ведомстве.

-- Я тебе ничего не сказал еще о своих театральных делах, о театре, которому столько времени отдавали мы с тобою в гимназии. Роковую роль сыграл театр в моей жизни, хотя -- почему роковую? Все это так и надо, так и надо! Сейчас расскажу тебе тайну! Никому еще не рассказывал ее за все время. А тебе расскажу. Но давай выпьем!

Петя велел принести еще графинчик, хотя мне и показалось, что у него нет никаких денег и что он пользуется тем, что встретил старого приятеля. Выпивши еще большую порцию, он нисколько не захмелел, а только еще больше насыпался и стал вести себя так, будто бы действительно предстояло ему поведать что-то весьма значительное, что-то очень таинственное и необычное.

-- Да, Ваня, не мне рассказывать тебе о том, что такое театр и какое значение

Лосев А. Театрал filosoff.org

имел он в нашей жизни. Ты сам, конечно, помнишь, сколько светлых минут и сколько счастья доставил нам с тобою театр в жизни. Бывало, бросали мы с тобою уроки, бросали родных, голодали, чтобы сберечь на билет в театр, и--ходили на спектакли чуть ли не ежедневно, ходили с увлечением, с азартом, отдавая театру последние досуги и последние свободные минутки. Да и что еще было в нашем захолустном городке замечательного и интересного! Театр спасал нас от мещанства, от засасывающей тины провинциального болота. Театр давал нам мировые горизонты, и душа наша трепетала в унисон с Софоклом, Шекспиром, Шиллером и Гете. Откуда бы нам, мелким людышкам медвежьего угла знать о страстиах тонкого ума Гамлета, о пластической душе непреклонной Антигоны, о горячих итальянских темпераментах, о глубине, о зорких раздумьях немецкого гения, о французах с мистикой повседневной интимной жизни! Все это нам дал театр. Перед нашими глазами вставала древняя скульптурная Греция, великолепие и торжественное величие римской империи, вдохновенная красота и духовные идеалы рыцарства. Мы видели с тобою королей, императоров, царей всех веков и народов, их величие, их падение, их власть, их бессилие. Мы изнутри чувствовали бедность, болезнь, жалкое и смиренное существование, мы созерцали тайные пружины любви, власти и могущества, богатства, ненависти и злобы. От нас не могла укрыться тоска гения, принимающего смерть от дикой толпы, которая его не понимает, -- восторг и упоение любви, нашедшей свое осуществление и свою благословенную взаимность среди грубой пошлости обыденной жизни, -- страдания и подвиги героя, захотевшего положить свою жизнь за свободу и счастье людей, -- мелкая и напряженная злоба человеческой жизни, построенной на эгоизме, лжи, клевете, интригах и мести... да разве все перечислить! И все это нам дал с тобою театр!

А помнишь, милый Ваня, наше увлечение артистическим миром? Помнишь, с каким трепетом ждали мы бенефиса того или иного исполнителя, с каким нетерпением жаждали приезда той или другой знаменитости, чтобы приобщиться к этому чудесному и вожделенному миру гениального искусства! Мы обсуждали с тобою, что вот Муратов играет Гамлета, главным образом, как оскорбленного сына, страдающего за честь своей матери, а вот Каширин видит в нем государственного мужа, болеющего о судьбах трона. Майский же подчеркивает в нем философа, мыслителя, углубленного аналитика, а вот здесь Гамлет -истерик, невротик и в конце концов психопат и даже умалишенный, а вот там Гамлет -- и сын, и принц, и философ, и психопат... Какая завораживающая и волшебная картина умозрения, созерцания, понимания, проникновения и фантазии! И все это мы с тобой знали, Ваня, знали 15--16-летним подростками, все это мы отведали, вкусили, ко всему этому приобщились. И сердца наши трепетали вместе с мировым пульсом всеобще-человеческого гения, талантов, артистического духа и актерского творчества.

А как любили мы с тобою эту бездомную и бродячую, эту гениальную и бесшабашную жизнь актерской среды! Актер -- всегда гуляка праздный, всегда бездомен, всегда переходит с места на место. Сегодня он на сезоне в одном городе, а завтра кончился сезон или прогорел антрепренер, и--он перелетел в другой город, уже репетирует с новыми товарищами, для новой публики, новые пьесы. Душа актера -- нецентрированная душа; она вечно меняет свою субстанцию, вечно неузнаваема; она -- цепь бесконечных перевоплощений. И это -- так заманчиво, так увлекательно! Для актера не существует морали, не существует общественных обычаем, ему чужд устойчивый быт. Он вечно ищет и создает, неутомимо возносится и парит. Он -- сама фантазия, само непостоянство, сама неизменно клокочущая жизнь. Правда, отсюда же его глубинная бесшабашность, беспринципность и анархизм; отсюда его аморальная беспечность, неунывающий оптимизм и всегда готовая проявиться натура энтузиаста. Но мы знаем с тобой, как артисту позволено то, что не позволено другому. Да, шалит и розвивается актер, но не как вы, мелкая и бездарная чернь, живущая интересами кошелька и желудка! Нарушает мораль и грешит против ваших законов, но -- не как вы, мелкая, бездарная дрянь и визгливая, самомнящая глупость!

А помнишь, Ваня, наш маленький, милый театртик, это священное место наших юных фантазий, нашей чистой молодой молитвы, этих сладких и туманных мечтаний, которыми всегда богата талантливая молодость? Он был расположен на площади около городского сада, -- старинное, маленькое, деревянное, но изящное здание нашего театра. Кроме партера и амфитеатра он имел два яруса лож, бенуар и бельэтаж и над ними так называемая галерея, место не для низших сословий (которые никогда в театр не ходили), но, по-моему, для самого высокого общества, отличавшегося от высшего света только отсутствием денег и невозможностью заплатить за более дорогой билет. Этот театр воистину был для нас с тобой священным местом. Мы знали в нем каждое место, знали, где и какой номер и ряд, откуда что видно и

Лосев А. Театрал filosoff.org

слышно, знали всех швейцаров, бритых, величественных, одетых в старинные торжественные мундиры, знали все закоулки кулисов, где всегда с тобой подсматривали и подслушивали выступающих артистов, и сезонных и в особенности приезжих. Только родная школа, гимназия, да этот милый, уютный театрик и есть то, что осталось в моей душе милого, родного, интимного -- от всей моей жизни, от всех бесконечных впечатлений жизни!

Вот об этом-то своем и твоем святилище, об этой чудной храмине красоты и искусства я и должен тебе рассказать. Не рассказать, а исповедоваться!

Нечего и говорить о том, что как только кончилась для меня гимназия, так одновременно кончился и театр! Да, Ваня, кончилась чудная музыка искусства, окончилась глубокая школа ума и жизни! Почему кончилась, зачем кончилась? Не знаю, Ваня, сам не знаю! И не спрашивай, не знаю ничего. Знаю только, что с почтовым ведомством театр не совместим. Конечно, это все идиотизм, глупости, капризы... Но... Ничего не поделаешь! Кого в этом винить, не знаю. Вероятно, меня самого надо винить, кого же больше? Однако, что же пользы в том, что я виноват? Ну, пусть я виноват, а ведь от этого не легче.

Кончивши гимназию и определившись почтовым чиновником, я перестал ходить в театр. Поверишь или нет, но -- как отрезало! Вспоминал театр как какую-то далекую несбыточную мечту. Вспоминал его как виденный много лет тому назад сказочный сон. Вспоминаешь-вспоминаешь такой сон, и, кажется, что вот-вот вспомнишь его, и -- никак не вспоминается, никак не ухватишься ни за какую мысль, чтобы его восстановить в памяти. Так и я -- не мог и не мог вспомнить, что такое театр и что это за чудные откровения он посыпал; и сам удивлялся, как эта память о столь недавнем счастье так бездейственна, так бессильна и беспомощна!

Был я с тех пор всего два раза в театре. И оба раза были таковы, что больше уже не хватало смелости идти еще раз.

Один раз был уже даже не спектакль, а концерт, и дирижировал известный С***, совершивший турне по ряду городов и заехавший в наш городишко. При первом анонсе об его прибытии сердце, было, затрепетало у меня прежней юной радостью, и я быстро купил себе билет, боясь, что впоследствии будет трудно попасть на концерт. Правда, радость эта была мимолетна. Купивши билет, я тут же почувствовал у себя на душе будни, и довольно равнодушно ждал дня концерта. Концерт начинался с "Неоконченной" симфонии Шуберта. Первая тема симфонии, даваемая на виолончелях, произвела на меня весьма дурное впечатление. Раньше мне так нравилось это матовое, спокойное величие, изображаемое здесь властно и задумчиво спускающимся ходом виолончельной мелодии. Кроме того, я заметил, что дирижер управляет не только своей палочкой, но и тем хвостом, который у него вдруг почему-то вырос из-под фрака и который двигался туда и сюда вслед за движением симфонии. Мне это показалось чем-то обидным, неудобным и даже некрасивым, и я преспокойно встал с своего места, взобрался на дирижерское место, оттащил от пульта злополучного дирижера за хвост и уверенно занял его место. Властно постучавши о пульт палочкой в знак начала симфонии и просчитавши один такт, я махнул рукой, и -- симфония снова началась под моим управлением. Однако, -- что за чертовщина! Эти проклятые виолончели, с которых началась симфония, завыли как выгнанные и побитые псы, и я в гневе прекратил эту отвратительную музыку, раздраженно застучавши по пюпитру в знак того, что надо симфонию опять повторить сначала! Просчитавши один такт вторично, я опять дал знак палочкой, и симфония началась снова, и опять раздались эти издевательские, собачьи голоса, которые вызывали во мне и смех, и ужас, и отвращение. Представь себе, Ваня, я начинал симфонию по крайней мере раз пять, и все то же дурацкое завывание. В конце концов я бросил это скучное занятие и вернулся на свое место в партере. Стоявший тут же дирижер тотчас же приступил к своему дирижированию, и симфония, а затем и весь концерт были закончены благополучно. Правда, одно мое достижение было несомненно: у дирижера в течение всего концерта ни разу не появлялось никакого хвоста.

Другой раз -- также дело касалось одной знаменитости. В наш город приезжал известный бас П., который должен был выступать в "Борисе Годунове". П. прекрасно провел свою партию, и последняя сцена заставила весь театр затрепетать от ужаса и от восторга. П. была устроена редкая овация и были сделаны какие-то ценные подношения. Помнишь, милый Ваня, как мы любили с тобою всякие бенефисы, всякие чествования, юбилеи, чтения адресов и приветствий, подношения цветов, венков,

Лосев А. Театрал filosoff.org

драгоценностей... Юное счастье охватывало наши сердца, когда происходило, например, празднование 25-летнего юбилея Муратова. Эти горячие речи и адреса, эти взволнованные, полные самой настоящей и непритворной благодарности приветствия, этот сплошной гимн и славословие великому гению искусства, так счастливо воплотившемуся в Муратове, -- наполняли тогда весь театр полным восторгом, одним пламенем сочувствия гению, одним благоговением к творческому подвигу актерской жизни. И как трогателен, как наивен зрительный зал в эти часы юбилейного празднества! Какая детская радость и счастье написаны у всех на лице, когда при всеобщей овации и несмолкаемых аплодисментах артисту подносят огромные букеты цветов или дарят коллективно приобретенные драгоценности.

Такие овации и такой-то прием наша публика устроила П. Я был тоже несколько взволнован, но о прежнем юном счастье поклонника искусства и его служителей не было и помину. Все же я был активен настолько, чтобы разузнать, где остановился П., и попытаться увидеть его в домашней обстановке. Помнишь, как часто мы посещали с тобой актеров или писали им восторженные письма, стараясь вместе с ними жить стихией вольного искусства?

Да, движимый чем-то вроде этого (но уже далеко не этим -- было ясно), я постучался в номер гостиницы, где остановился П. На стук никто не ответил. Я тихонько надавил на дверь, и она бесшумно открылась передо мной. Боже мой, что это такое? Вся комната была наполнена какими-то извивающимися гадами, кишила какой-то копошащейся дрянью, какими-то неуловимо-гибкими спрутами, один вид которых внушал ужас и омерзение.

Думая, что все это какой-то сон, я сделал шаг вперед и протер глаза, как будто бы стараясь проснуться от неприятного сна. Но то, что случилось дальше, было еще хуже. Я почувствовал, что мои руки и ноги начинают удлиняться и утончаться, делаясь гибкими и извивающимися, что голова моя превращается в какую-то круглую морду, а туловище становится огромным, толстым, овальным, так что весь я стал превращаться в холодного и гадкого спрута, несущего свое мягкое, холодное и осклизлое тело на бесконечном количестве извивающихся ног. Все мое тело покрылось огромными черными глазами, и я сразу стал видеть все со всех сторон. Мои уши наполнились душераздирающими голосами, в которых нельзя разобрать, бывают ли здесь кого-нибудь и раздается дикий вопль истязаемого, музыка ли это -- какой-то чудовищной, потрясающей симфонии, похожей больше на смерч и ураган, чем на симфонию, -- гром ли проваливающегося хребта горной цепи, где погиб, казалось, не горный хребет и не материк, а весь мир целиком.

Но где же П., где это чудо искусства и театра? Боже мой, неужели это он? В кресле перед маленьким столиком сидел уродливый, скрюченный старик с бородой даже уже не белой, а желтой, жевавший какую-то жвачку удивительно долго, непрестанно двигая своими бессильными челюстями, методически и медленно, разжевывая какую-то снедь, как корова или вообще жвачное животное. Глаза у него были закрыты, и он весь отдался процессу жевания. Окруженный этим зверьем, этой ужасной животной пакостью, он невозмутимо продолжал двигать своими челюстями, и на его лице, превратившемся уже в ряд складок куска шершавой материи, я не мог прочитать ни одной мысли, ни одной тени хоть какого-нибудь душевного движения.

С силою рванувшись с места, я в ужасе выбежал из этого номера, из этой гостиницы, и после уже ни разу не пошел ни в театр, ни тем более к какому-нибудь актеру.

Что это такое, Ваня? Но -- не трудись объяснять. Как-то и без слов понятно, что это такое, да и не подберешь сюда подходящих слов. Нет таких слов!

А тем не менее -- рушилось последнее счастье и утешение жизни. Театр выпал у меня из души, и с ним пропало все молодое, все свежее, все наивное и умное, все высокое, интимное и торжественное! Почтовое ведомство водворилось во мне, в душе, в уме, в сердце, -- и, казалось, во всем мире нет ничего кроме этого почтового ведомства.

Ну, тут бы и кончиться всей этой легенде о театре. Однако, случилось не так. Чудная, светлая, прекрасная легенда о театре закончилась так, что вот только тебе первому за много лет и захотелось мне ее рассказать.

Однажды я видел сон.

Трудно назвать это сном. Сон и есть сон, больше ничего. У меня же это было каким-то тихим умопомешательством (или я не знаю чем) и -- на всю жизнь, на всю жизнь!

Где-то, на неизвестном месте, в непонятной обстановке, но на фоне обширного пространства, -- не то городской площади (только не было видно ни домов, ни людей), не то поля или какой-то равнины, мне почудился некий предмет, который издали был похож на огромную пушку. Я находился вдали от него и не мог в подробностях разобрать его очертаний. Подойдя ближе, я увидел... Боже мой, что это такое? Неужели это то самое, что мне показалось, неужели я не ошибся?

да, я не ошибся. Передо мною оказался исполинских размеров мужской половой член в напряженно-трепещущей форме, и только не было видно, кому он принадлежит и есть ли такое существо, кому он реально принадлежит. Этот член был несколько аршин длиною, а в ширину его могло бы охватить только несколько человек. Он торчал под углом, примерно в 45°, над землей, наподобие какого-то уродливого облезлого дерева.

Вдруг среди окружающей пустоты появились какие-то люди, -- да, впрочем, в самых обыкновенных нарядах, в пиджаках и сюртуках и даже кое-кто во фраках, -- самые обыкновенные люди, каких встречаешь на улице любого города сотнями и тысячами. И стало этих людей набираться много-много. С каждым мгновением толпа людей становилась все больше и больше, наполняя собою пространство кругом этого члена; а откуда они появлялись, не могу себе и представить. Эта толпа людей стала тысячной, стотысячной, миллионной, миллиардной; она заполнила все пространство до горизонта, наполнила всю землю, наполнила весь мир...

И вот поднялся на что-то высокое один человек из этой толпы, -казалось мне, самый серый, самый невзрачный, самый обыкновенный человек, немного сгорбленный и сутулый, с высоко поднятыми плечами, как бы от холода. На нем была черная полуношенная рубаха-косоворотка и полинялая грязно-серая кепка, надвинутая на лоб. На этом бесцветном плоском лице я не мог прочитать ни одной идеи, ни одного замысла. Мне бросилась в глаза тупость этого стеклянного взгляда и выпятившиеся вперед губы, которые свидетельствовали о бессмысленной и наивной сосредоточенности на чем-то пустом и никчемном. Бывает у людей такая барабанья сосредоточенность на пустом предмете, когда видишь сразу и всю мучительную напряженность этого лба и этих глаз и в то же время полную бессмысленность и пустоту, полную бессодержательность того, из-за чего возникло это сосредоточение.

Поднялся этот мещанин и, казалось, как-то неожиданно для самого себя вдруг заговорил. Было видно, что он никогда не говорил на собраниях и что ему трудно было связать несколько слов в цельную фразу.

-- А что ежели того... Так что, значит, этого... Ну, вот, как говорится, упасть это... То есть, оно, конечно, не упасть, а того, ну, как это? Значит, ежели того... поклониться, что ли... Да, да, поклониться ежели... Вот этому самому члену поклониться... Да не то, что так просто, а вот ежели эдак, как говорится, всем, всему, дескать, миру. Вот всем миром взять, да и поклониться... А? Что, ежели, братцы, того... Взять, да и ахнуть...

В ответ на эти слова начались невероятная суматоха и смятение среди миллиардной толпы. Все забегало, засуетилось, заерзalo. Появились вдруг откуда-то жертвеники, алтари, и появилась их такая масса, что, кажется, каждый из толпы мог иметь свой алтарь для совершения службы члену. Все начали готовиться к богослужению, суетиться вокруг жертвеников и алтарей, и вся необозримая толпа людей разделилась на отдельные группы, готовившиеся начать всемирное поклонение новоявленному божеству. Казалось, что вся эта необозримая толпа народа, все это вселенское человечество только и ждало знака серого и невежественного мещанина в кепке, надвинутой почти на самый нос.

И что же? В ту самую минуту, когда все было готово и по единому знаку должно было начаться всемирное поклонение новоявленному божеству, началось извержение семени из недр трепетавшего члена, и это свеже-пахнущее мужское семя стало изливаться все больше и больше, стало превращаться в целый поток, ручей, в целую реку, и эта река стала расширяться и углубляться, и в ней стали утопать люди и

Лосев А. Театрал filosoff.org
их жертвенники и алтари. Началось бегство и растекание людей во все стороны, а река Семени стала превращаться в озера, в моря, в океаны и поглощать в себе всех людей, всю землю. И весь мир потонул в этом всемирном потоке семени.

Я смотрел и ждал, что будет дальше.

Новый вселенский океан поднялся до небес и затопил все самые высокие горы. Но это продолжалось, кажется, недолго. Скоро эта густая влага стала спадать, и показались там и сям отдельные горные вершины и горные хребты. Было заметно, как постепенно и довольно быстро спадает влага и начинает появляться суша. Земля с жадностью впитывала в себя семя, и нетрудно было заметить, как происходило оплодотворение земли этим могучим и животворным семенем. Земля шипела, и бурлила, и клокотала целой бездной зародышей, закопошившихся в ней благодаря воздействию семени. Вся поверхность земли, все дно морей и океанов, всю атмосферу, напоенную испарениями семени, -вдруг наполнились миллиардами мельчайших живых существ, быстро появлявшихся из животворной пены и быстро получавших ту или иную форму и размер.

Что это за существа? Люди? дети? да, это было что-то очень похожее на детей, но только не дети... Дети не кувыркаются так бесшабашно, как эти существа, не прыгают так высоко, не катаются, не дерутся, не хохочут так безобразно. Боже мой, да ведь это все обезьяны, малые, большие, крохотные и огромные -- обезьяны, обезьяны, обезьяны... И там, и здесь, и везде, и везде -- одни обезьяны, одни обезьяны. Вся земля наполнена одними обезьянами, весь мир состоит из одних обезьян, вся вселенная сверху донизу кишит обезьянами, обезьянами, обезьянами... Где же те люди, которые только что были перед этим? Неужели все они исчезли? И откуда эта уйма и бездна обезьянней действительности?

И чем они заняты? Они все время неимоверно кривляются, хохочут, передразнивают друг друга, кувыркаются, бегают, прыгают... Неужели нет ничего и, главное, никого в этом мире, кроме обезьяннного гоготания и обезьянных ужимок?

Позвольте! Вот они разделились по рангам, по чинам... У них целая иерархия. Вот снизу наиболее простые и корявые из них; смотрите -- вот эти шершавые идиотские морды и мясистые отвислые губы, эта дурацкая и хитрая улыбка и коварный рот, готовый издать хохот, похожий на ржание. А вон повыше -- живут на горах, морды почти без волос, и зубы не торчат так отвратительно, лбы не так узки и нос почти человеческий, не столь откровенно собачий. Эти более высокие существа все время гримасничают, ухмыляются, стрекочут, но не прыгают и не кувыркаются так безобразно, как нижние... Они--специалисты по сарказму, иронии, цинизму, и они -- философы и политики издевательства, надругательства и злорадства. А вот и третий -- живущие в самих небесах, аристократы обезьянного духа, архангелы и ангелы мирового цинизма и злорадства, боги вселенского гоготания бытия над самим собою.

И обезьяны нижней сферы гогочут над неодушевленной природой, средняя сфера обезьян гогочет над нижней, обезьяны архангелы и ангелы гогочут над средней сферой, боги гогочут над архангелами и ангелами. И над всей обезьянней иерархией, небесной и земной, раздается хохот и гоготание единого и истинного правителя всего обезьянного бытия, универсально-мирового орангутанга, хохочущего над всеми сферами бытия, небесного, земного и преисподнего...

5.

-- И многое другое я еще видел во сне, многое, очень многое из того, что творилось среди обезьян... Но многое я забыл тогда же, когда проснулся; многое забылось в течение лет. А то, что еще помню сейчас, не стоит и передавать, до того это отвратительно и неприлично...

Скажу только то, что лег я перед этим сном одним человеком, а встал совершенно другим...

Правда, и раньше меня все как-то переставало интересовать. Но то, что я стал ощущать на другой день после того сна и ощущаю до настоящего дня, превзошло все, бывшее со мною когда-нибудь.

Я перестал видеть назначение предметов. Подходя к какой-нибудь вещи, я осознал ее внешнее тело, но переставал понимать, для чего это тело существует. Я потерял

душу вещей. Также, встречая людей, чужих и даже хорошо знакомых, я видел в них какие-то мертвые тела, какие-то пустые механизмы, и с трудом заставлял себя что-нибудь говорить с ними и верить в их восприимчивость, верить в то, что они могут мне что-то ответить. Беря стул, чтобы сесть, беря карандаш, чтобы писать, надевая шапку, чтобы выйти на улицу, я все время удивлялся, что стул есть стул, что карандаш есть карандаш и т. д. Назначение вещи, ее душа, казалось мне, так внешне и случайно связаны с телом этой вещи, что вот-вот,казалось, эта душа улетит, и уже нельзя будет назвать стул стулом, и нельзя будет пользоваться карандашом как карандашом. И уже улетела душа вещей от самих вещей, и осталось одно внешнее, безымянное, тупое и темное тело их... И весь мир как бы потухал, становился мнимым, терял очертания и краски. И некуда было деться от этой тьмы и безымянной, бесконечной массы тел, телесной массы -- неизвестно чего.

Я и без того почти никогда не смеялся. Но после этого сна я почувствовал, что потерял или теряю способность даже улыбаться. Ты помнишь древнегреческое предание о пещере Трофония, которая содержала в себе такие вещи, что однажды заглянувший туда уже на всю жизнь терял способность смеяться... Да, я потерял самую способность смеяться и улыбаться, и потерял ее сразу же, на другой же день после описанного мною сна...

Так толкался я среди обездушенных вещей, по крайней мере, несколько недель. О виденном сне я не вспоминал ни разу, но было ясно, что после него в душе осталась какая-то идея, которую во что бы то ни стало надо было осуществить; и я не знал, совершенно не знал, что это была за идея.

Подходя к вещам и людям, пользуясь ими или общаясь с ними, я все время очень наглядно видел, что все это употребление, все это общение -- не то, не то и не то... Эти пустые, мертвые вещи, эти погасшие и как бы мумифицированные люди -- что я мог от них получить и что я мог бы им дать? Даже не было у меня и тоски или скуки... Ничего не было на душе, просто ничего... Ты вот, вижу, еще не знаешь, как это получается так, что на душе ровно ничего нет, --ну, просто ничего, абсолютно ничего...

И какой-то -- не голос, нет (какие там еще голоса?!), а просто голый рассудок еще продолжал говорить и недоумевать по поводу моего осознания бытия. Да, вот хорошее слово -- осознание! Я перестал видеть и слышать вещи, перестал даже их мыслить. Я умел только их осознать... И среди этого бытия, осознательного бытия, -- слабый и нерешительный голос рассудка еще шептал, что есть-де какие-то идеи, вернее, какая-то одна и единственная идея, которую я во что бы то ни стало должен осуществить, -- несмотря на то, что тупая и темная стихия осознания поглотила все идеи, какие только могли быть во мне.

Скоро (очень скоро -- дня через два-три после этого сна) я стал очень чувствительно замечать у себя, действительно, какую-то важную и глубокую идею... Уже не рассудок, а что-то внутреннее стало требовать осуществления этой идеи. Но что же это за идея, в чем она заключается? Это было совершенно неизвестно!

Скоро осуществление этой идеи стало физической потребностью. Уже не внутреннее нечто толкало на эту идею, а тело, -- да, да, это самое физическое тело, которое всеми считается чем-то внешним, стало требовать во что бы то ни стало осуществить эту идею. Я чувствовал, как грудь, горло и даже живот требуют, повелительно приказывают осуществить эту идею. Я чувствовал ее в руках и ногах, я чувствовал ее в позвоночном хребте... Да, да, в особенностях спинного мозга... Скоро стало прямо жить невыносимо, но--я все еще не знал и даже не догадывался, какого рода идея могла бы тут проявиться и какую идею я хотел в действительности осуществить...

Я ходил как беременная женщина, которой осталось до родов несколько часов или десятков минут, и она потрясаема надвигающейся катастрофой и революцией ее организма, откуда должно появиться что-то абсолютно новое и небывалое, но она знает это не чем иным, как именно своим телом, но она не знает, кто и что появится на свет в результате ее родов.

Так и я ходил среди обездущенного мира, беременный какой-то большой идеей, которой оплодотворил меня мой роковой сон, но я не мог догадаться, что это была за идея, и не знал, как произойдет ее рождение.

Наконец, через несколько недель после сна пришла и эта желанная идея. Я

Лосев А. Театрал filosoff.org

ухватился за нее как утопающий, и уже не могло быть никаких сомнений в том, что она должна быть осуществлена. Повторяю, если ты только можешь это понять, ее осуществление было для меня физической потребностью.

Однажды ночью я был разбужен набатом в нашей маленькой церковке, находившейся от нас через несколько домов. Выйдя на улицу, я заметил небольшое зарево пожара. Горел недалеко от нас какой-то овин, который очень скоро сгорел, и населению удалось вовремя локализовать пожар, так что не пострадала ни одна из соседних построек, и весь инцидент был исчерпан в какие-нибудь полчаса. Но...

Но как только я вышел на улицу, как только посмотрел на зарево пожара, я сразу понял все. . . Я сразу осознал свою идею, осознал сразу во всех ее подробностях, осознал, как, где и когда я осуществляю эту идею, понял, что в этом -- физическая необходимость моего существования, что не может быть никакой и речи об ее отстранении. . . Да, это стало слишком ясно и понятно! И не могло быть ни малейших сомнений, ни тени какого-нибудь колебания!

Эта идея была такова: я должен был сжечь наш милый, наш дорогой театр, наше интимное место молодых вдохновений и юного счастья красоты и мудрости! Да, я должен был сжечь. . . Молчи, молчи, Ванюша! Ты сейчас выкатил на меня глаза и решил что-то говорить. Не говори, не говори ничего! Все я знаю, что можешь и хочешь сказать. . . Да что ж тут и можно сказать кроме того, что это -- сумасшествие, сумасбродная идея, что это -- преступление и т. д. и т. д. Эх, наивный ты человек! Вижу по глазам твоим, что ничего ты не понимаешь. . . Да и не можешь понять. . . Тут, брат, надо другое. . . Ну, словом, ты не понимай, а я иначе не мог.

Ты подумаешь, что я почему-то вдруг возненавидел наш театр, что эта идея возникла в результате каких-то сознательных рассуждений?. . . Вот и опять ошибся. Да разве могу я когда-нибудь ненавидеть наш театр, наше единственное утешение с тобою в жизни? Разве можно забыть эти юные мечты, эти высокие идеалы, эти потрясающие чувства, пережитые нами со сцены, эту глубокую и замечательную школу жизни, полученную нами там, в этом старинном и изящном деревянном театре, который видел в своих стенах столько мысли, столько ума, столько красоты?.. . . Разве можно это забыть и разве можно с этим бороться, это ненавидеть, это уничтожать?

Совсем наоборот. . . Я так любил наш театр. . . Ваня, и сейчас вот слезы стоят в горле... И все же... Все же я ничего не мог сделать! Я должен -- понимаешь ли? -- должен был сжечь театр...

Но этого мало. Идея о сожжении театра, сверкнувшая во мне в ту ночь, как бы сразу осветила и все подробности этого предприятия. Сжечь я должен был театр не вообще, а вместе со всем народом, который там мог быть. Надо было обязательно выбрать день с каким-нибудь большим бенефисом или вообще с парадным спектаклем. Все-таки в наш театр, при максимальном наполнении и переполнении, помещалось до полутора тысяч человек. . . Кроме того. . . Кроме того, надо было заставить пойти на этот спектакль и жену. . . За одно уж. . .

Осознавши свою идею, я стал работать над ее осуществлением. Прежде всего, надо было выбрать максимально многомодный спектакль. . . Но это еще не так трудно. Труднее был второй вопрос -- вывести жену на спектакль. Это, действительно, было трудно. Ведь я же никогда, буквально ни разу не водил жену в театр, да и сам был всего два раза. . . С женой я к тому же почти совсем не разговаривал. А тут надо было -- что же? Приглашать пойти в театр? Почему? Зачем? Как это вдруг в театр? Наконец, третью трудность я уж и не считал за трудность. Это -- самый поджог. Тут я всецело надеялся на свое прекрасное знание всех мельчайших закоулков театрального здания, и поджечь этот карточный домик не стоило никаких трудов. . .

Спектакля долго не пришлось ждать. В первый же большой бенефис я назначил осуществление своей идеи, и еще задолго начал подготовливать жену к этому вечеру. Тут были небольшие трудности.

Однажды, вернувшись со службы, я сделал очень добродушный вид, сел за обед вместе с женой (чего раньше почти не бывало) и произнес с беззаботным выражением лица:

"Лидия, почему ты все время сидишь дома? Отчего ты не пойдешь никуда в театр, на
Страница 12

концерт, в цирк? . . "

Лидия была, конечно, премного удивлена. Она в жеманных выражениях стала слабо оправдываться, ссылаясь на занятость по хозяйству. Но первая победа была мною одержана: самая идея пойти в театр ей понравилась. А это было самое важное. У стариков появилось ко мне даже какое-то нежное чувство. Они сразу стали меньше говорить и меньше меня упрекать; и я замечал, что они гораздо больше шепчутся между собой, чем говорят что-нибудь вслух.

Лидия также как-то вдруг стала мягче и нежнее, хотя я и не отвечал на эти внезапно появившиеся нежные взгляды и какую-то едва заметную плавность телодвижений. Я ведь не привык ни к каким нежностям, да и надо было во что бы то ни стало довести до конца свою идею. . . А какие же там еще нежности?! Дня через два после моего первого приглашения пойти в театр, вечером, перед сном, разыгралась было даже вполне сентиментальная сцена, но она, конечно, не могла меня тронуть. Было поздно, слишком поздно... Вечером, когда оба мы раздевались в своем углу и были готовы лечь -- жена на постель, а я на свой короткий, хватавший мне только до колен, диванчик, --- вдруг она подошла ко мне, обвила мою шею руками и навзрыд заплакала, заплакала долгими, горячими слезами и долго не отпускала меня, не будучи в состоянии сказать ни одного раздельного слова. Старики почему-то вдруг проявили необычный тик: они не только не вмешались в эту сцену, но даже и с своих мест, за стенками нашей ширмы они не проронили ни одного слова вслух и ограничились только едва слышным шепотом между собой.

Я обнял Лидию и тоже не говорил ничего. Она продолжала рыдать в моих объятиях.

Наконец, когда рыдания кончились, она тихо сказала мне:

-- "Петр Алексеевич, прости меня. Я во всем виновата. Прости меня. Прости. . ."

И рыдания опять возобновились с прежней силой.

Я не знал, что ей отвечать. Эта сцена, эти объятия и эти слезы были впервые за все времена. . . Когда она совсем успокоилась, я бережно уложил ее в постель и сказал, чтобы она следила за собой, не лишала себя удовольствий, и что мы с ней на-днях пойдем вместе в театр.

На другой день, придя с своей почты, я застал сцену, совсем не похожую на то, что происходило вчера. Дело в том, что еще вчера я сообщил жене, что намечавшееся мне повышение жалованья с 15 до 20 руб. в месяц провалилось и ближайшее полугодие я опять буду сидеть на 15 рублях. Лидия, занятая нежными чувствами ко мне, забыла об этом сообщить старикам; сцена же, разыгравшаяся вечером, и вовсе отвлекла ее от мыслей о жалованье. На другой же день, когда я был еще на почте, она сказала, наконец, старикам об этом, и те подняли скандал, нещадно браня меня и всячески обзываая ее -- за что, неизвестно. Чем я был виноват, что мне не прибавляют жалованья и чем в особенности была виновата Лидия? Когда я пришел домой, я застал скандал в самом разгаре, причем плакали все трое, не исключая и старика. Кто из них и кого в чем обвинял, я не знаю. Но когда пришел я, они все обрушились на меня. Я и плохой сын, я и негодный муж, я изверг, я эксплуататор, я дармоед, даже хам и живодер. . .

Не стоит, Ванюша, передавать всего. Старики озлобились не на шутку, но Лидия к вечеру отошла и стала помалкивать. А на другой день было видно, что ей все-таки очень хотелось пойти в театр. И я ей обещал, что на будущей неделе я поведу ее на парадный спектакль, где будет вся интеллигенция нашего города. . .

6

Подошел день избранного мною спектакля.

Нельзя было откладывать все на самый день. Надо было подробно осмотреть все здание и проверить, осталось ли внутри то же самое расположение помещений, что и раньше, и не было ли произведено какого-нибудь капитального ремонта, который бы изменил планирование внутренней площади. Самое главное, это был для меня огромный подвал, тянувшийся под всем зданием и занятый всяким мелким хламом, -- ящиками, стружками, бочками, картонными колоннами, различными частями сцены, императорскими и царскими тронами, стоячими деревьями и пр. принадлежностями сцены, которые по мере надобности выносились наверх и опять сносились назад, по

Лосев А. Театрал filosoff.org
миновании надобности. Если этот подвал был цел, -- все было спасено. Если же этот подвал был ликвидирован или если в него нельзя было проникнуть, то все мое предприятие ставилось под вопрос. В самом деле, как было обойтись без подвала?

Накануне спектакля, вечером, я пошел на разведку. Подвал оказался вполне таким же, как и в наше с тобою время. Не успевши еще подумать, как попасть в этот подвал, я заметил, через маленькое окошечко, спускающееся ниже уровня тротуара, что в подвале кто-то есть и виден свет слабой керосиновой лампы. Кто-то вошел в подвал и долго внимательно рылся там в хламе, -- по-видимому, разыскивая какие-то мелкие вещи, нужные для того или иного спектакля. Тусклый фонаришка был достаточен для того, чтобы я убедился в полной сохранности подвала.

Как проникнуть в подвал, это я знал очень хорошо. Туда вела дверь за кулисами на лестницу, круто спускавшуюся под сценой. Проникнуть туда незаметно -- можно было только во время спектакля, когда все за сценой заняты представлением и никто не обращает внимания на эту маленькую дверь. Надо было обязательно проникнуть туда накануне, чтобы расставить банки с керосином и пузырьки с бензином и чтобы не перегружать себя в самый день спектакля.

Прошмыгнуть в эту подвальную дверь не составило никакого труда. Мы с тобой так часто околачивались там за кулисами около этой двери и настолько хорошо знали все порядки и обычаи, царившие за кулисами, что прокрасться через эту дверь в подвал мне удалось в какие-нибудь пять минут.

Банок и сосудов в подвале было сколько угодно. Я захватил с собою только бутылку керосина и два пузырька с бензином. В трех местах я устроил небольшие костры из хлама, которым был наполнен подвал. Эти костры были облиты керосином. Пузырьки с бензином были расставлены недалеко от окошек в подвал, чтобы можно было зажечь их при помощи длинной палки, просунутой в эти окошки. Стоило только взять паклю на длинном шесте, зажечь ее и коснуться через окошко приготовленных мною куч, как пожар в несколько секунд уже должен был начаться, по крайней мере, в трех местах. Кроме того, места эти были выбраны с тем расчетом, чтобы в случае, если воспламенится потолок подвала, то есть пол партера, чтобы обеспечен был провал стены, отделявших два яруса лож и галерею от фойе. Этого было вполне достаточно для того, чтобы публика не могла выйти в двери; она должна была рухнуть вниз вместе со всеми ложами. Длинную жердь с прикрепленной на конце ее паклей я также подготовил и положил в укромное место около театральных сцен.

Все было готово, и я спокойно заснул.

На другой день, то есть в самый день спектакля, я проснулся с настроением, которое надо назвать не больше и не меньше, как каким-то торжественным. Так бывало в детстве накануне великих праздников, когда в доме все чистят и моют, на кухне готовятся вкусные кушанья и вся атмосфера дома пропитана скрытым торжеством, подготовкой к великой радости, которая вот-вот наступит. Проснувшись утром, я чувствовал сильнейшую, хотя и скрытую радость и предвкушал свое счастье, когда, наконец, я исполню свой долг и осуществлю идею, которая уже начинала мешать моему существованию. Давно уже я не испытывал такого спокойствия, такой ровной и тихой радости, как в это утро, когда, еще не одевшись, я лежал в постели и мечтал о своем торжестве, которое должно было состояться вечером.

Придя со службы, я начал разговор с женой о театре. Уже несколько дней назад билеты были взяты; и жена, видимо, с удовольствием и нетерпением дождалась этого вечера, которого не суждено было ей пережить еще ни разу за всю нашу совместную жизнь. Она притихла и кроме двух-трех язвительных фраз ничего не сказала мне особенного. Часа за три до выхода в театр она стала одеваться, завивать свои грубые желтые волосы, разглаживать оборки на платье, бесконечное число раз примеривать браслеты и броши и пр. Старики, которых после некоторого умягчения прорвало в связи с отказом в повышении мне жалованья, так и не вернулись к своим чувствам, появившимся было после моего приглашения их дочери в театр. Последними словами, которые они бросили нам вслед, когда мы вышли в театр, было:

"-- По театрам ходит, а жрать нечего!"

Я почему-то даже взял извозчика, -- чтобы доставить жене полное удовольствие.

Лосев А. Театрал filosoff.org

Когда мы вошли в театр и заняли последний ряд партера, публики было уже довольно много. С каждой минутой количество народа росло и росло; и к началу спектакля набралось столько публики, что были заняты даже проходы, -сначала приставными стульями, а потом и просто толпой стоявших и жаждавших увидеть и услышать блестящую бенефициантку. Что была за пьеса, -- поверишь ли? -- забыл, совершенно забыл; и что была за бенефициантка, -- тоже забыл. Только и осталось в памяти, что была актриса, а не актер, и--больше ничего! Кто играл и что играл, -- ничего не помню. Хоть убей, -- ничего не помню.

Я просидел с женой два действия. По окончании второго действия (а оставалось что-то очень много, еще действия три, если не больше), я сказал Лидии, что у меня сильно болит голова и что я выйду на время антракта на воздух, а вернусь к началу следующего действия или несколько запоздаю.

С ясным и счастливым настроением души я взял свое пальто в раздевальной и медленно вышел из театра. Около театра стоял длинный ряд извозчиков в ожидании разъезда публики после спектакля. Площадь была освещена тусклыми газовыми фонарями. Я быстро шмыгнул в тень, зайдя за угол театра и погрузившись в темноту, где не было ни живого существа.

Надо было несколько помедлить, чтобы кончился антракт. Иначе публике было бы очень легко выбегать из фойе наружу. Я в темноте нащупал свою жердь с паклей: она была в полной сохранности.

Ты вот подумаешь, Ваня, что у меня были какие-то там идеи, какие-то сомнения, колебания, что я чего-то боялся, кого-нибудь жалел, опасался за себя или других? .. Эх, Ванюша! Святая простота! Ничего-то ты не понимаешь, и--не поймешь ничего! Тут, брат, откровение надо иметь. Из пальца это не высосешь. Ну, ладно... Раз уж начал рассказывать, доскажу до конца.

Да, впрочем, и рассказывать нечего. Зажег паклю, просунул в окошко, коснулся приготовленных куч. Все вспыхнуло моментально. Я преспокойно свернулся в соседний переулок и мог свободно пройти с десяток улиц и переулков, прежде чем должна была подняться тревога. Но я не уходил так далеко. Мне хотелось присутствовать здесь на пожарище, а в суматохе все равно никто на меня не обратил бы внимания. И я с легким нетерпением ходил по соседнему переулку, в минуте ходьбы от театра.

Тревога очень долго не поднималась. Уж не потух ли пожар? Однако подойти к театру и посмотреть в окошечко было бы опасно. И я с возрастающим нетерпением продолжал гулять по соседнему переулку.

Прошло, по крайней мере, с полчаса. Наконец, раздались слабые возгласы, и я поспешил к театру. Картина была совершенно спокойная и скучная. Театр стоял как ни в чем не бывало, а со стороны, куда я подошел, не было ни одного окна и ровно ничего не было видно. Конечно, в подвальное окошечко можно было все увидеть, но я не решался подойти вплотную. Только вдруг выбежавший из театра человек, без шапки и пальто, кричал во все горло: "Пожар, пожар, пожар!!!!" По-видимому, перед этим тоже выбежал один такой человек, и его-то крик я, вероятно, и слышал из соседнего переулка.

Но где же вся прочая публика и почему же нет никакого пламени? Уже потом я сообразил, что я слишком спешил. Разгореться такому зданию, хотя и насквозь деревянному, нельзя было сразу. Однако, пожар уже заметили: значит, огонь, или, по крайней мере, дым, показался уже в зале, а это могло быть только в том случае, если уже занялся пол. А если занялся пол, то, рассуждал я, все спасено.

Еще через полчаса весь театр представлял собою пылающий костер, и уже не было видно ни стен, ни крыши, ни переднего фронтона, а только одно пламя, уходившее в темное, тусклое небо.

Ну, вот тебе и весь рассказ... Понял? Ну, что тебе еще прибавить? Прибавлю то, что прочитал я в местной газете на другой день после пожара. Оказались сгоревшими заживо 485 человек и получившими тяжелые ожоги 522 человека. Остальные душ пятьсот спаслись. Среди сгоревших была и Лидия. Да это и не удивительно. Я знал, что это будет именно так.

Домой я не пошел. Да и куда? К этим старым сумасбродам? Нет, домой я не пошел, да и всякий "дом" как-то вдруг взял да и кончился. Я сразу куда-то уехал. Не

возвратился я и на свою проклятую почту. Но с тех пор вот уже сколько лет не могу две ночи переночевать в одном месте. Гонит меня что-то с места на место и гонит непрестанно, непрерывно. Не могу, не могу жить в одном месте. И служить бросил тогда же и -- раз навсегда! Довольно! Ванюша, чекалдыкнем еще разик!

Петя, не дожидаясь согласия, хватил еще полграфинчика и стал заметно хмелеть. Щеки его уже давно порозовели, и его стало разбирать. Однако он говорил очень хорошо и складно, только стал произносить несколько медленней, как бы вдумываясь в каждое слово.

7.

-- Подлецы! Все люди подлецы! -- продолжал Петя, начиная делать неестественные ударения на словах и употребляя пьяные жесты. -- Еще ни одного человека не встретил честного! Ишь ты! Понадевали сюртуки да меха! Подумаешь, и -- правда. А на самом деле все вы мерзавцы! Да, -- мерзавцы! Вишь ты, -- сидит, чай пьет да бутербродом закусывает. Подумаешь, и на самом деле человек. А я вижу, --да, да, вижу и знаю, что ты подлец. Куда ни пойду, везде подлецы. Узнавать, брат, умею. Ты вот небось не умеешь, а я вот по маленьkim черточкам узнаю. Вот по одной складочке на лбу или вокруг рта, по одному жесту или по манере сидеть или ходить узнаю, что человек -- подлец. Да, да! Мошенники, подлые душонки! .

Ну, ну, ладно, постой! Не обижайся. Обидно за человека? Ну, не обижайся, не буду! А ведь посуди сам. . . Какое кругом расслоение, распадение, разложение! . . Не честного человека я не видал, а просто человека не видал. . . Да, да, человека не существует. . .

Все это кругом какое-то тягучее, липкое, вязкое. . . Нет ясности, красоты, нет кристальности. Нет в бытии ничего понятного и четкого. . . Как жизнь бесчеловечна, как жизнь бесчеловечно непонятна! А хочется чего-то, простого, светлого-светлого, ясного-ясного и, главное, простого. . . Зачем эта ненужная сложность, многозначность, многомысленность, зачем эта вечная несоразмерность, неохватность, это досадное и нудное скольжение жизни, эта скользкость ее, осклизлость? . . Где начало и конец, где середина бытия? А вот изволь жить! Жить в условиях внутреннего неразличения, внутренней безразличности, безразличия жизни, ее вечной однотипности, однообразия, монотонности, скучной невыраженности, невыразительности жизни -- при всей ее бездонности и разношерстности!

Есть что-то гнусное, что-то пошлое и бездарное в основе всего бытия. . . Есть какая-то мелкая, духовно-мелкая идея, залегающая в глубине жизни, и от нее все зависит, все и все. . . Это духовное вырождение, это универсальное мировое мещанство, эта мелкая мстительность и придиричивость, -- вот они, прославленные глубины бытия и жизни! . . В течение всего моего существования кто-то великий и могучий, злой и мстительный придирается ко мне, --да, да, придирается ко мне, --да, да, придирается ко мне, дразнит меня, задирает меня, машет кулаками около носа, вызывает на драку, на месть, на ругательства. Что ему нужно от меня? Да кому это -- "ему"? А есть этот он, -- вернее, оно, -- да, да, оно, это хамское и бездарное "ono", завистливое и мстительное, и куда ты от него денешься, если оно и есть все? Главное -завистливое и придиричивое, мелко-мстительное, бездарно-злобное, нудно-вымогательское. Оно неустанно следит за тобой, за каждым твоим шагом, ты вечно в поле его зрения; и оно не выпускает тебя ни на одну секунду, ни на одно мгновение. . . Этот горящий и светящийся глаз вечно бдит где-то вдали, в тусклой и тошной мгле бытия, не моргая и магнетически пронизывая тебя, -- издали, из-за угла, откуда-то сбоку.

Так живут людшки под этим бдительным оком. И живут скверно, слабо, невыразительно. Все как-то больны, слабы, ничтожны, бессильны, и в то же время злы и мстительны. Сам беспомощен, барахтается в болезнях, страданиях, в язвах души и тела, но сам в то же время замышляет и творит зло, вредит из-за угла, мстит мелко и жестоко. . . Умирает, а еще дышит злобой. . . Весь ничтожен, нуждается в помощи, и просит о ней, и тут же--злобствует, ползает(?) и шипит как змея. Бездарно это! Бездарная месть, невыразительная злоба. Эта капризная мелкота, эта копошащаяся слизь души, это отсутствие живой идеи и духовных замыслов, душевного размаха и простора, эта вечная сдавленность, скрюченность, бессильная приниженность, полная беспомощность и ненужность творимых дел, эта духовная ограниченность и какая-то обворованность, пустота и скука, -- все это есть жизнь, это, Ванюша, жизнь! И это называется жизнью!

Вот оно, везде и непрестанно, -- мелкое, злобное, кривое, больное, бессильное, мстительное, пустое, капризное, бездарное, глупое, придиличное, вязкое и липкое, серое, тусклое, невыразительное, надоедливое, дотошное и тошнотворное, капризное, уродливое, беспомощное и страдающее, гадкое, осклизлое, придушенное и духовно-мертвое, духовно-холодное, упорно-необщительное, гнилое, скользкое, топкое, неуловимое, манящее пустотой прозрачностью, какой-то вечный прибой и отбой холодной и методически-жесткой мелкой злобы. . .

да, а театрик-то рухнул как карточный домик, сгорел дотла как куча дров, как готовый костер! Эх, дружище!

При этом Петя похлопал меня по спине.

-- Эх, дружище! Не так-то оно просто, жить-то! Нельзя знать и--не сжечь самого дорогоего. Знание! . . Эх, Ванюша, не понять тебе, что такое знание. . .

А ведь не избавился я от того чувства обездущения, о котором я тебе говорил. Идею свою выполнил и облегчение получил, а от обездущения не избавился. Хожу среди вещей и -- осязаю их, только осязаю, -- не вижу и не мыслю их. Вижу только эти глупые и тупые бездарные тела, и--не вижу, не знаю души. Да, именно -- бездарное тело. Тело, Ванюша, всегда бездарно. . . Ежели оно только тело, оно всегда бездарно, бессмысленно, бессодержательно; оно всегда есть вырождение. Тело вещей без их души -- как это пошло, плоско, как это жалко, ничтожно, как это мелко и ненаходчиво! Разве можно заменить одухотворенное бездушным, гениальное бездарным, преисполненным -- пустым, талантливое -- тупым и тяжелым?

да, Ванюша, можно, и я заменил, -- понимаешь? -- заменил! Ужасно и мучительно унижение и оскорбление гения, души, жизни, но -- великое наслаждение и в удушении гения, в убиении души, в уничтожении жизни! Гений непобедим, и душа бессмертна, а я -- не хочу, чтобы гений был непобедим, хочу, чтобы душа умерла. Я отомщу! Я отомщу за эти вечные придирики, за это постоянное забирание и раздразнивание, за это издевательство над неповинным ни в чем человеком. Я отомщу! И я уже отомстил!

Ванюша, хочешь купить себе обезьянку? Я все время хотел купить, да денег не было. . . да, впрочем. . .

Эх, Ванюша, не люблю этих гениев и талантов. . . Эту вот саму душу взял бы да и придушил как клопа. Личности, субъекты, великие сердца. . . Много вас тут, дряни, шатаются, гениев-то.

Петя сильно хмелел, и уже начинал нести какую-то чушь.

-- А ведь следствие-то. . . Следствие-то было... Ха-ха! Осудили дирекцию театра и нескольких пожарных. . . Ха-ха! Помнишь, у нас в фойе стояли в касках и с топором за поясом... Настоящие римские солдаты. Ну, их тоже под суд. Кое-кого в Сибирь. . . Ха-ха-ха! М-мать их. . .

Не выношу личностей. . . Личность. . . А обезьянки не хочешь? Орангутанга мордатого не хочешь? Душу... ежели того... душу, значит, убить. . . Хе-хе-хе! И лягушки тоже. . . Женщины любят спать с обезьянами... М-н-да!.. С обезьянами и с мокрыми облезлыми лягушками. Значит, того...

Я решил прервать Петю.

-- Петя, милый, ты болен. Тебе бы отдохнуть, полечиться. . .

-- Ванька, м-мать твою. . . Ну, давай поцелуемся! Милый мой Ваня! А гимназию-то помнишь?

Петя, шатаясь встал из-за стола, долго со мной целовался и вдруг заплакал. Заплакал и зарыдал на весь вокзал, так что многие стали на нас обращать внимание. Я поспешил усадить его обратно за стол и пытался утешать.

-- Ваня, голубчик. . . Ваня, а помнишь Сергея, гимназического швейцара?

И Петя вдруг вскочил, подошел ко мне и грохнулся на колени.

-- Ваня, прости меня, прости, прости! Ваня, ну, прости же, прости же, прости! . .

Я бросился его поднимать, так как мы стали решительно обращать на себя внимание, и могла вокруг нас собираться публика.

Я вновь поднял его и усадил за стол. Но тут послышался на платформе звонок, извещавший о выходе моего поезда с последней станции. До прихода поезда оставалось 15 минут.

-- Ваня, -- заговорил Петя, немного оправившись и утирая слезы, -- Ваня, дай два рубля денег.

Я вынул несколько кредиток и дал ему. Но заметив, что он в них путается, я сам уложил эти деньги ему в карман.

-- Ваня, отведи меня вон туда. . . на постоянный. . . я заплатил в буфет, одел Петю и вывел его из вокзала. Постоянный двор, действительно, оказался рядом с вокзалом, и я просил заведующего поместить моего друга почище.

-- Ваня, милый Ваня, -- лепетал Петя, лежа в постели и засыпая, -- Ваня, прости, прости за все! Если ты простишь, то и. . .

Дальше я не понял. Петя еще долго что-то шептал и мычал, но ничего нельзя было разобрать. Он тут же и заснул, а я поспешил на поезд, так как оставалось 3--4 минуты.

Когда я сел в вагон и разместил свои вещи и нашел себе место, образ моего гимназического товарища Пети восстал во всех своих подробностях.

Это был талантливый, белокурый юноша, такой воспитанный, такой простой и ясный, такой любитель и знаток искусства, такой чистый, нетронутый, умный. . .

Я ничего не понимал. . .

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfedor.ru/> Приятного чтения!